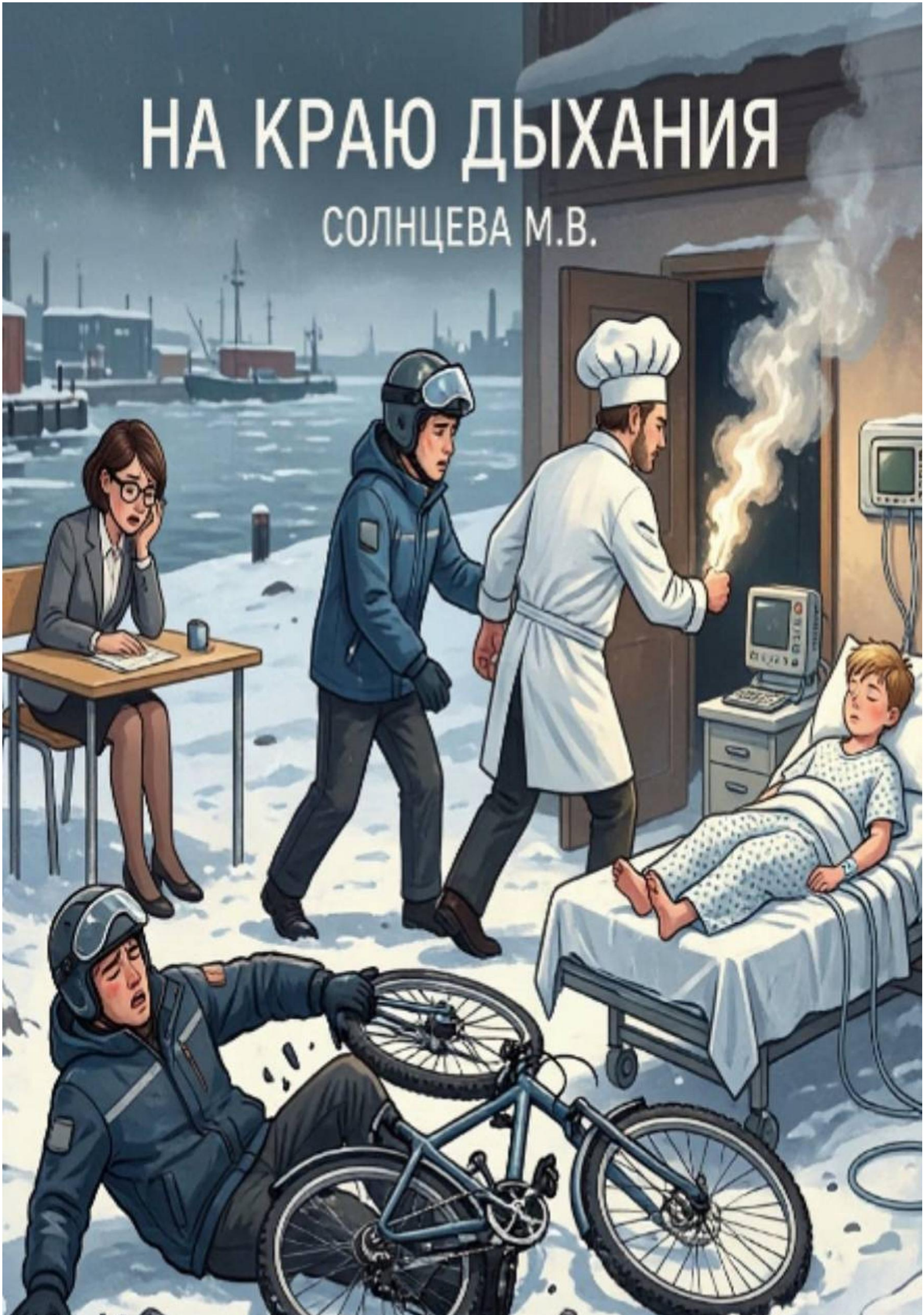
НА КРАЮ ДЫХАНИЯ

СОЛНЦЕВА М.В.



Маргарита Солнцева

На краю дыхания

«Автор»
2026

Солнцева М. В.

На краю дыхания / М. В. Солнцева — «Автор», 2026

Пятеро незнакомых людей в северном портовом городе проходят по самой кромке: у учительницы литературы останавливается сердце посреди урока, девятнадцатилетний курьер на гололёде попадает в ДТП, повара детского дома выводят из горящего здания без сознания, одиннадцатилетний мальчик двое суток держится между жизнью и смертью после пересадки костного мозга, а хирург, который всю жизнь вытаскивал других, сам уходит под лёд на зимней реке. Каждого из них возвращает не чудо, а чужие руки, секунды и случайности.

© Солнцева М. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Сюжет 5
Глава 1. Семь минут 6
Глава 2. Азбука 12
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Маргарита Солнцева
На краю дыхания

Сюжет

Пятеро незнакомых людей в северном портовом городе проходят по самой кромке: у учительницы литературы останавливается сердце посреди урока, у девятнадцатилетнего курьера на гололёде сминает машину фурой, повара детского дома выводят из горящего здания без сознания, одиннадцатилетний мальчик двое суток держится между жизнью и смертью после пересадки костного мозга, а хирург, который всю жизнь вытаскивал других, сам уходит под лёд на зимней реке. Каждого из них возвращает не чудо, а чужие руки, секунды и случайности: фельдшер с дефибриллятором, водитель, остановившийся на трассе, сосед с топором, ночная смена в реанимации, подросток с телескопической удочкой. И у каждого рядом с этой границей оказывается ещё одна история — про любовь: взаимную, позднюю, неслучившуюся, детскую. Роман о том, что жизнь обрывается без предупреждения, и о том, что после такого зазора возвращаются другими: осторожнее с собственным телом, нетерпимее к пустым словам, внимательнее к чужим рукам — и, если повезёт, с кем-то, с кем можно молчать. Двадцать четыре главы, пять голосов, один город и одна зима, которая никого не отпускает прежним.

Главные герои: Анна Соловьёва — учительница литературы, 34 года, аневризма на уроке, семь минут клинической смерти; Сергей Ильин — историк, коллега и муж Анны, человек, с которым можно молчать; Тимур Асланов — курьер, 19 лет, ночная авария на ледяной трассе, три литра кровопотери; Наташа — медсестра реанимации, 28 лет, замужем за Костей, та, в кого он влюбился без взаимности; Мария Гурьева — повар интерната, 61 год, вывела из пожара одиннадцать детей и надышалась дымом; Игорь Петрович — завхоз школы на Заречье, 64 года, вдовец, её поздняя любовь; Данила Титов — мальчик, 11 лет, острый лейкоз, пересадка костного мозга и двенадцать суток в реанимации; Настя Худякова — его одноклассница, которая присылает ему записки про ворона; Аркадий Вельтман — хирург, 54 года, провалился под лёд на зимней реке; Марина Сергеевна — кардиолог, 48 лет, замужем, спасла его и осталась коллегой; Вера Хакимова — фельдшер скорой, та, кто оказывается рядом; Глеб Руднев — заведующий реанимацией, любит цифры и не любит разговоров; Римма Асланова — мать Тимура, приехавшая из Магнитогорска; Олег — отец Данилы, водитель автобуса; Светлана Николаевна — мать Данилы, которая не врёт сыну; Татьяна — мать Лизы, с которой Тимур потом подружился; Лиза — четырёхлетняя девочка, которую Тимур вытащил из машины; Петя Савин — подросток, вытащивший Аркадия из полыньи; Кира Вельтман — дочь хирурга, студентка; Николай Петрович Гунько — водитель фуры; Марат — мальчик из восьмой палаты, который не выжил.

Глава 1. Семь минут

Анна Соловьёва всегда начинала с вопроса, который ставил девятый класс в тупик, потому что считала: если человек не умеет стоять в тупике, он не научится читать. В то утро вопрос был про Наташу Ростову и про то, почему ей прощают. Класс молчал — не из вредности, просто понедельник и восемь сорок. За окном шёл снег, мелкий и упрямый, как манная крупа, и верхняя фрамуга дребезжала от ветра так, что весь урок шёл с этим дребезгом, будто кто-то очень далеко и очень терпеливо бил в бубен.

— Ну хорошо, — сказала Анна. — Тогда проще. Назовите поступок, который вы никогда никому не простили бы.

На задней парте оживились, и это было хорошим знаком.

Она помнила всё, что было дальше, до мелочей, и потом, спустя год, когда её спрашивали, она рассказывала именно эти мелочи, потому что крупного не помнила вовсе.

Ветер толкнул фрамугу, и та отозвалась длинным дребезгом. Кто-то в третьем ряду сказал: «Вот сейчас вылетит». Анна обернулась, чтобы посмотреть на окно, и в этот момент правая рука перестала слушаться. Не онемела — просто перестала быть её рукой, стала чужой вещью, лежащей на краю стола. Следом в затылке, а потом в висках, а потом везде, во всей голове, распахнулась боль такой силы, что в первой секунде она не успела испугаться. Есть такое свойство у очень сильной боли: сначала она занимает всё, и только потом приходит страх.

Она попробовала сказать «ребята», и вышло не слово, а короткий выдох, похожий на «ра». Мелом она уже не писала — мел выпал и покатился под первую парту, и этот звук, тонкий и стеклянный, она слышала очень чисто, гораздо чистее, чем собственный голос.

Потом пол встал набок.

Позже, в реабилитации, она сформулирует это для себя так: мир не потемнел, мир повернулся. Стены остались стенами, шкаф с портретами писателей остался шкафом, а вот вертикаль исчезла, и она поехала вниз вместе с этой исчезнувшей вертикалью, задев плечом угол парты.

И тут же, поверх боли, поверх снега за окном, поверх всего — резкий, звонкий, совершенно не уместный в классе голос Дани Круглова:

— Анна Сергеевна!

Она хотела ответить, что всё в порядке, что надо подождать минуту, что это, наверное, давление, у неё всю жизнь пониженное давление, она сейчас посидит и продолжит про Наташу, и они ещё поспорят, прощают ли такое или просто устают помнить. Она даже подняла левую руку, чтобы показать: минуту, подождите минуту.

Рука поднялась и опустилась.

А потом что-то в ней — не в комнате, не в классе, а в самой Анне Сергеевне Соловьёвой — щёлкнуло и выключилось, будто в старом доме выбили пробку. Ни света, ни звука, ни боли. Просто ничего, и это «ничего» не было похоже на сон, потому что во сне человек всё-таки есть.

***

Дальше класс вспоминал всё совершенно иначе, и Анне пришлось собирать происшедшее из двух десятков версий, как собирают вазу из осколков, зная, что часть осколков потеряна, а часть подброшена.

Первым сориентировался не отличник и не самый сильный мальчик, а Кира Мальцева, та самая, у которой всегда лежали в рюкзаке влажные салфетки и телефон с восемьюдесятью процентами заряда, потому что её мать работала в поликлинике и учила дочь думать о зарядке, как о хлебе. Кира подбежала, взяла Анну за плечо, позвала два раза, услышала, как та хрипит, и сделала то, чего сама от себя не ожидала: сказала громко, чужим голосом:

— Телефон! Быстро! И «скорую»!

Дальше класс рассыпался на роли, как в плохом театре, где всё-таки настоящая кровь. Кто-то искал в интернете, как делать массаж сердца. Кто-то побежал за завучем и в коридоре столкнулся с ведром. Кто-то плакал, и это было нормально. Кто-то снимал на телефон, и потом тренер по физкультуре, мужчина с сорокалетним стажем и тихим голосом, сказал этому человеку такую фразу, что тот убрал телефон и весь год потом вёл себя тише.

А Артём Круглов — тот самый, с третьего ряда, который назвал её имя, — сделал самое простое и самое важное, из-за чего, вероятно, всё и кончилось хорошо. Он запомнил время. В девять часов четырнадцать минут он машинально посмотрел на часы, потому что искал зарядку. Потом, в больнице, когда его спрашивали, во сколько это случилось, он говорил: «В девять четырнадцать, плюс-минус минута», и врач, лысый и очень уставший, сказал ему спасибо, и Артём до сих пор считал это главным спасибо в своей жизни.

Учительница, лежащая на полу кабинета литературы, между вторым и третьим рядом, не дышала.

***

Есть минуты, которые в этом городе считают быстро, а есть те, которые считают бесконечно долго. «Скорая» ехала восемь минут — по документам, восемь, она потом читала выписку. Восемь минут по гололёду, через пробку на переезде, где стоял товарный состав, ползущий так медленно, что водитель выматерился и поехал в объезд через два двора. Восемь минут — это ничто на автомагистрали и это очень много, когда человек лежит на полу с остановившимся сердцем.

Все, кто был в классе, запомнили эти минуты по-разному, и в каждом воспоминании они длились по-своему: у кого-то три, у кого-то полчаса, у Киры — вечность, у Данилы — примерно столько, сколько длится песня.

Вера Хакимова, фельдшер, приехала первой, и первое, что она сделала, войдя в кабинет, — попросила всех сесть на места. Это было не про дисциплину. Просто тридцать человек вокруг лежащего тела — это тридцать лишних рук и тридцать лишних голосов, и она знала по опыту, что мешают обычно не злые, а сочувствующие.

— Так, — сказала Вера. — Девочка с телефоном. Считай вслух.

— Что считать?

— До ста. Громко.

И Кира Мальцева стала считать, и в классе не стало ничего, кроме её голоса: раз, два, три, четыре... Потом, много позже, на выпускном, Кира скажет, что этот счёт слышала потом ещё год в собственных снах, но говорила она это спокойно, почти нежно, потому что счёт был хороший, рабочий счёт.

Вера Хакимова работала быстро и без слов. Мешок Амбу лежал в сумке, и сумка, как у всех в этом городе, была тяжёлой и застёгнутой на все молнии. Иван Палкин, водитель, встал рядом на колени и взял руки на грудину. Через минуту Вера его сменила. Через две минуты, когда Лёха, стажёр, побежал за дефибриллятором в машину, у Анны появился короткий сиплый вдох, и Кира сбилась со счёта и заплакала, и Вера сказала ей: «Не плачь, считай», и Кира стала считать с середины, с семидесяти восьми, потому что это единственная цифра, которую она запомнила.

Дефибриллятор принесли. Сами наклейки, которые раньше нужно было ставить, прилипали плохо — кожа была прохладная и влажная. Вера вытерла грудь марлей из сумки, прилепила, отошла, сказала «все от аппарата», нажала.

Тело подпрыгнуло. В третьем ряду кто-то вскрикнул.

— Не помогает, — сказала Вера. — Ещё раз.

Второй раз не помог. Третий помог: на мониторе появился ритм, сначала кривой, потом ровнее, и Анна Соловьёва, которая в этот момент лежала на полу кабинета литературы, где

тридцать лет до неё разбирали Наташу Ростову, сделала вдох — сама, глубокий, с хрипом, будто вынырнула.

— Есть, — сказал Иван Палкин, и только тогда все в классе наконец услышали, как за окном зимний ветер бьёт в фрамугу.

Позже в выписке напишут: «клиническая смерть», но точное число минут там будет указано по документам скорой — семь, и Анна будет считать эти семь минут своими, хотя провела их не она, а чужие руки.

***

Она пришла в себя уже в реанимобиле, на носилках, пристёгнутая, и первое, что увидела, была наклейка от дефибриллятора, загнувшаяся на краю, и надпись на потолке: «Держитесь». Написание было от руки, чёрным маркером, и она подумала: вот, наверное, кто-то тоже держался.

Она не могла сказать ничего членораздельного. Она понимала всё — про потолок, про наклейку, про то, что рука лежит неудобно, — но вместо слов во рту был ровный, гладкий, тёплый комок, как будто она забыла, как это делается, хотя знала, что знала.

— Молчите, — сказала Вера и поправила ей ремень под подбородком. — Молчите и держите глаза открытыми. Поговорим в больнице.

Анна подумала: я должна спросить про класс. Она попробовала сказать «они», и получилось «ооны», и Вера, взглянув на неё, вдруг улыбнулась — коротко, по-настоящему, не по протоколу.

— С классом всё хорошо, — сказала она. — Двое плачут, один снимал, я снимающему сказала два слова. Все живы. И вы тоже.

«И вы тоже» — это она произнесла так спокойно, будто выдавала справку. Анна Соловьёва закрыла глаза, и мир внутри машины покатился, и ей показалось, что она снова падает, только теперь падение было мягкое и никуда не вело.

Её везли через город, который она знала наизусть: мимо школы номер восемь, где она училась, мимо рынка с бетонными прилавками, мимо поворота на завод, где работал её отец, пока завод не закрылся. Снег шёл, дворники скребли с сухим шорохом, и всё это было обыкновенное, будничное, утреннее — город как город, девять часов, середина зимы.

Только теперь она смотрела на него немного иначе, чем утром, хотя не смогла бы объяснить, в чём разница.

Разница была в том, что утром она ещё не знала, какое это всё хрупкое. И то, что она этого не знала, было, если подумать, нормально и правильно: иначе невозможно жить. Никто не ходит по улице, помня, что тротуар может встать набок.

***

Вера Хакимова вставала в пять сорок и знала про свой город примерно всё, что можно узнать из окна машины скорой помощи за одиннадцать лет. Она знала, в каком дворе зимой не чистят и куда не заезжает «скорая» без лопаты. Знала, где живут три собаки, которые бросаются на колёса, и где живёт старик, который выходит встречать бригаду с фонариком, чтобы посветить на лестнице. Знала, в каком доме лифт не работает с две тысячи девятнадцатого года и что об этом бесполезно говорить в диспетчерской, потому что там это тоже знают.

У неё было двадцать два шага от подъезда до машины — она как-то посчитала по дороге и с тех пор считала всегда, сама не замечая. Двадцать два шага по наледи, если держаться за перила, и восемнадцать, если не держаться. Она держалась.

Смена начиналась в семь. В семь двадцать был вызов на давление: женщина восьмидесяти двух лет, отекла, задыхалась, и её надо было везти. В восемь ноль пять — перелом шейки бедра у мужчины, который поскользнулся у самого подъезда и лежал в снегу сорок минут, потому что никто не выходил. В девять часов четырнадцать минут диспетчер сказал: «Восьмая школа, кабинет литературы, женщина тридцать четыре года, не дышит».

Вера потом много раз объясняла стажёрам, что в такие секунды важно не бежать. Бежать — значит забыть сумку. Она вышла из машины, забрала сумку, сказала Лёхе: «Дефибриллятор, сразу», и пошла к дверям ровным шагом, и только внутри, на лестнице, перешла на бег.

Школа пахла мокрой тряпкой и котлетами. На втором этаже, у кабинета, стояли человек двадцать детей и смотрели на дверь. Вера сказала: «Так, все в сторону», — и они расступились, и в этом расступании было столько послушания, что у неё на секунду перехватило горло.

Женщина лежала между вторым и третьим рядом, на боку, лицо было серо-зелёное, губы синие, и один каблук слетел. Рядом на коленях стояла девочка в свитере с оленями и считала вслух. Вера отметила всё сразу, как отмечала всегда: девочка — молодец, считать — правильно, дышит ли больная — нет, зрачки — широкие, кровь из носа — немного, значит, травмы при падении нет серьёзной, но голову проверить потом.

— Так, — сказала она. — Девочка с телефоном. Считай вслух.

Дальше её тело работало без неё. Тридцать компрессий, два вдоха, тридцать компрессий. Иван встал рядом, она уступила ему грудину, потому что мужчина тяжелее и давит ровнее, и следила за глубиной, и говорила «глубже, глубже, не бойся», и на двадцатой минуте не заметила, как вспотела спина под курткой.

Потом принесли дефибриллятор. Наклейки, марля, «все от аппарата», разряд. Ничего. Ещё раз. Ничего. Третий разряд — и ритм.

Она не любила слово «чудо». В её работе чудес не было, была арифметика: минута без кровотока — минус десять процентов шансов, и это очень грубо, и это очень честно. Но иногда всё сделано правильно, и человек всё равно уходит, а иногда всё сделано с ошибками, и человек возвращается. Вера давно перестала понимать, от чего это зависит. Оно не мешало работать. Оно мешало спать.

— Есть, — сказал Иван и вытер лоб тыльной стороной руки.

Женщина дышала сама, хрипло, с влажным звуком. Вера поставила ей венозный доступ на левой руке, потому что правая была согнута и в синяке, и набрала в шприц то, что надо было набрать. Девочка в свитере всё ещё считала. Вера сказала: «Хватит, молодец, ты свободна» — и девочка заплакала, а другая, с крысиным хвостиком, подошла и обняла её, и они стояли обнявшись посреди класса, и это было единственное, что Вера потом вспоминала из того класса, кроме каблука на полу.

Завуч, крупная женщина в шерстяном жилете, спросила: «Она будет жить?» — и Вера ответила то, что отвечала всегда: «Сейчас стабильна. Дальше — как пойдёт». Завуч кивнула так, будто получила точный ответ, и это было хорошо, потому что точного ответа ни у кого не было.

***

В больнице её передали быстро, и Вера пошла заполнять бумаги, и в бумагах всё было как всегда: время вызова, время прибытия, время начала реанимации, время восстановления ритма, семь минут. Она вывела семёрку в графе и подумала, что человек, который лежал на полу, никогда не узнает, какая это была длинная цифра.

Потом, в машине, Лёха спросил:

— А что с ней теперь будет?

Лёха работал третий месяц и задавал вопросы, за которые Вера его любила.

— Может, ничего, — сказала она. — Может, память просядет. Может, речь. Может, рука. Мозг — он как квартира после потопа: стены целы, а проводку надо сушить.

— А она разговаривала? — удивился Лёха. — Она же вроде «ооны» сказала.

— Сказала. Это хороший знак, — Вера посмотрела на него. — Запомни: если человек после остановки пытается говорить, значит, он ещё там. Не там, где вы думаете, а просто здесь. С нами.

Лёха кивнул и записал это в блокнот, и Вера не стала говорить, что блокнот — не для таких вещей.

***

Домой она попала в девять вечера, потому что после смены была ещё одна поездка, потом отчёт, потом очередь в аптеке. Дома её встретил кот по имени Диод, названный так мужем, который ушёл три года назад и оставил кота, потому что коты не делятся.

Она поставила чайник, села на табурет в кухне, не сняв форменной куртки, и включила телефон. В городском паблике уже висело сообщение: «В школе 8 на уроке стало плохо учительнице, дети сами вызвали скорую, подробности уточняются». Под сообщением было сто двадцать комментариев, из которых сорок были соболезнованиями живой женщине, а остальные — спором о том, что «раньше такого не было».

Вера прочитала и подумала: раньше просто не писали.

Она знала эту учительницу в лицо, но не знала фамилии. В вызове было: Соловьёва, Анна Сергеевна, тридцать четыре года. Тридцать четыре — это на семь лет младше неё. Вера налила чай, потом достала из холодильника сыр и съела его стоя, потому что после смены есть сидя она не умела.

Ей было сорок один, и она давно сформулировала для себя правило: не думать о тех, кого везла, после смены. Правило работало месяцев восемь, потом сломалось, потом она его восстановила в другой форме: думать можно, но не дольше одного чая.

Она выпила чай и подумала про девочку в свитере с оленями. Девочка считала до ста громко и чисто, как на экзамене, и не сбилась, пока не появился вдох. Вера встречала много взрослых, которые в такой ситуации терялись и начинали кричать. А эта считала.

— Хорошая школа, — сказала Вера коту. Кот не ответил.

***

Утром следующего дня она заехала в больницу — не по службе, просто заехала, потому что была в этом районе и потому что не заехать было бы странно. Анну Соловьёву уже перевели из реанимации в палату интенсивного наблюдения, и в коридоре сидел молодой человек в куртке не по погоде, с телефоном, и рядом с ним — женщина лет шестидесяти, которая держала в руках пакет с яблоками.

— Вы её привезли? — спросил молодой человек.

— Привезла.

— Спасибо, — сказал он и встал, и Вера увидела, что он не знает, что делать с руками.

— Муж?

— Не муж, — сказал молодой человек. — Коллега. То есть я не знаю, как это называется. Мы работаем вместе.

Женщина с яблоками оказалась матерью, приехала из района на первой маршрутке. Она спросила: «Она будет нормальной?» — и Вера снова сказала про стабильность, а потом, подумав, добавила:

— Ей сейчас главное не торопиться. Мозг после такого — как комната, где только что убрали. Все вещи на месте, но не всё на своих.

Мать кивнула и заплакала, и яблоки в пакете стукнули друг о друга.

Вера пошла к выходу и в дверях столкнулась с Глебом Рудневым, заведующим реанимацией, человеком, которого она знала восемь лет и с которым у неё никогда не было ничего, кроме двух ссор и одного хорошего разговора в машине.

— Твоя? — спросил он, кивая на палату.

— Моя. Семь минут.

— Видел, — сказал Глеб. — Хорошо сработали.

Он всегда говорил о работе в единственном числе множественного лица: «сработали», «справились», «потянем». Вера как-то спросила, зачем он так говорит, и он ответил: «Потому что в одиночку тут ничего не выходит».

— Не мне спасибо, — сказала Вера. — Девочке из класса. Она считала.

— Значит, передай девочке.

Вера вышла на улицу. Снег уже кончился, стало холодно и ясно, и над крышами стояло низкое белое небо, какое бывает только в январе. Она дошла до машины, открыла дверь, села, включила печку и вдруг поняла, что не помнит, ела ли сегодня.

Двадцать два шага она прошла утром не считая. Это её почему-то рассердило больше, чем всё остальное.

Глава 2. Азбука

Первое, что Анна поняла в больнице, было не про смерть и не про жизнь, а про потолки. В её палате потолок был облуплен в одном месте, у окна, и пятно имело форму, которая в разные часы дня менялась: утром это была голова лошади, к вечеру — карта какой-то страны, где никто не жил. Она подолгу смотрела на него и думала о том, что раньше не смотрела на потолки никогда.

Второе, что она поняла, было хуже: она не могла говорить.

Не так, как в кино, где человек хрипит и мычит. Она могла сказать «да», «нет», «не надо» и «спасибо». Могла назвать чай, окно, снег. Могла сказать «болит». Но когда она пыталась сказать что-то другое, в голове возникала ясная, подробная, совершенно готовая мысль — и на полпути к губам эта мысль рассыпалась на звуки, как рассыпается мокрая бумага. Иногда из неё оставалось первое слово. Иногда — только первая буква, и тогда она повторяла её, повторяла, повторяла, пока не замолкала.

Врач, молодой, в очках, сказал: афазия, моторная, на фоне ишемии в левой средней мозговой артерии, прогноз благоприятный, но нужна работа. Он говорил «благоприятный» так спокойно, как будто речь шла о погоде на неделю.

— Она меня понимает? — спросила мать.

— Понимает. Всё понимает. Говорить трудно — не понимать.

Мать заплакала снова, и Анна, глядя на неё, подумала: я должна её успокоить, я всегда её успокаивала, это моя работа — быть разумной дочерью. Она подняла левую руку — правая ещё плохо слушалась, лежала вдоль тела, как чужая вещь, оставленная на кровати, — и погладила мать по руке.

Мать схватила эту руку и стала целовать, и Анна впервые за все эти дни почувствовала не страх, а усталость.

***

К ней приходили. Это было странно и хорошо. Приходили коллеги, которых она знала восемь лет и с которыми разговаривала в учительской о тетрадях и о погоде. Приходил Сергей Ильин, историк, тот самый, что сидел в коридоре с пакетом яблок, — приходил каждый день, приносил мандарины, ставил их на подоконник и уходил через пятнадцать минут, потому что не умел сидеть молча. Приходила завуч Галина Марковна, крупная, в жилете, и говорила очень громко и очень бодро, как говорят с иностранцами и с тяжелобольными, и Анна сначала злилась, а потом поняла, что Галина Марковна просто боится.

Приходили ученики. Их не пускали, но двое всё равно просочились в субботу, когда на входе сидела добрая женщина, и это были Кира Мальцева и Данила Круглов. Они стояли в дверях с шоколадкой и с открыткой, на которой было написано «выздоравливайте», и подписей было тридцать одна.

Анна смотрела на открытку долго. Потом сказала:

— Спа… си… бо.

Кира заплакала, а Данила сказал:

— Мы решили, что вы вернётесь.

И это было первое, что Анна смогла запомнить целым предложением, потому что оно было коротким и потому что оно было правдой, которую кто-то произнёс вслух.

***

Про то, что было в семь минут, её спрашивали все. Мать — осторожно, как будто подходила к проруби. Галина Марковна — прямо, с блокнотом — она собиралась «написать в родительский чат, чтобы никто не боялся». Врач — сухо, с оговоркой «если помните». Сергей Ильин не спрашивал никогда.

Анна пыталась ответить и не могла, и это было хуже, чем не помнить.

Правда была в том, что она помнила куски. Не свет и не туннель — она очень хорошо знала, что должна была бы их помнить, потому что все, кто с ней говорил, начинали именно с этого вопроса: «А свет был?» Света не было.

Было вот что. Запах мокрой тряпки и котлет — тот самый школьный запах, только очень резкий, как будто она лежала на нём лицом. Дребезг фрамуги — этот звук шёл всё время, ровно, как метроном. И голос, который считал. Она слышала цифры, и цифры были не в беспорядке, а по порядку, и она всё думала: кто-то очень старается, надо подождать, надо не мешать.

Потом — рывок. Не полёт, а именно рывок, как будто её выдернули из воды за шиворот, и сразу стало больно везде, и было холодно, и хотелось спать, и кто-то говорил: «Не спи, не спи, открой глаза».

Она рассказала это врачу, и врач сказал: «Ну, это не совсем то, что обычно описывают», и в его голосе было разочарование, как будто она подвела статистику.

— А что обычно? — спросила она, уже лучше выговаривая.

— Обычно свет. Туннель. Родственники. Иногда выход из тела. — Он поправил очки. — Но у вас была не совсем остановка в чистом виде, у вас была фибрилляция и очень быстрая помощь. Это, скорее всего, и хорошо.

Анна кивнула и подумала: значит, я была на границе и не заметила границы. Мне не показали ничего. И это, если честно, немного обидно, как будто тебя пригласили на праздник, а ты простоял в прихожей.

Позже, гораздо позже, она прочитает про это десятки статей и узнает, что большинство людей не помнит ничего, и что воспоминания чаще приходят позже, и что слышать своё имя и счёт — описано, и что ни одна из версий не объясняет всего. И тогда она перестанет жалеть о том, что ей «ничего не показали», потому что поймёт: ей показали ровно то, что было, — её собственный класс.

***

С логопедом её познакомили на четвёртый день. Логопеда звали Ирина Павловна, ей было лет шестьдесят, она была маленькая, сухая, в очках на цепочке, и она не сказала ни одного утешительного слова, за что Анна полюбила её навсегда.

— Так, — сказала Ирина Павловна. — Читать умеете?

— Умею.

— Отлично. Значит, будем учиться говорить заново. Не пугайтесь. Вы не ребёнок, у вас всё в голове уже есть, надо только протоптать дорожку заново.

Дорожку протаптывали так: Ирина Павловна показывала картинку, и Анна называла. На картинке был чайник — Анна говорила «чайник». На картинке был мост — Анна молчала, потом говорила «мо… лост», и Ирина Павловна не поправляла, а говорила: «Мост. М-о-с-т. Ещё раз».

— Мост.

— Хорошо. А это?

Это был стол. Анна знала слово «стол» так же твёрдо, как своё имя, и всё равно не смогла его сказать; она смотрела на картинку и чувствовала, как в горле встаёт ровный тёплый комок.

— Стол, — сказала Ирина Павловна. — Он никуда не торопится. Вы тоже.

Они занимались по сорок минут, и после каждого занятия Анна спала два часа, как будто таскала мешки.

Была ещё одна вещь, про которую не говорили вслух. Анна плохо считала. Совсем плохо. «Семь плюс четыре» — она думала, потом говорила «двенадцать», потом видела лицо Ирины Павловны и говорила «не знаю». И это её пугало больше, чем речь, потому что речь — это слова, а счёт — это голова.

— Это пройдёт, — сказала Ирина Павловна. — И вот вам задание на ночь: вспомните, что вы говорили классу перед тем, как упасть.

— Про Наташу.

— Вот и расскажите себе. Медленно. Как сказку.

Анна лежала ночью и рассказывала себе про Наташу Ростову, и в какой-то момент поймала себя на том, что рассказывает подробно, с именами и с цитатами, и что ей за это не больно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.